
И было слово.
И было солено
на губах, словно
выпито море
со всеми его аллегориями
и приметами шторма,
что всё время – так скор и
так – с корнем
вырван из горла –
как окрик
грубого часовного
за колючей проволокой
горизонта, где слово –
это основа
долгого
взгляда в суть речи –
со стремлением встретить бога
или хоть что-нибудь бесконечное...

И было слово.
И были совы
над лесом сосновым –
будто бы невесомые.
Но всё, что ты смог –
внести прелый мох
на ладони
в облезлый подъезд.
Вот, мол, бедовые –
только мох-то и есть –
оправдание дна оврага,
где собирается влага
и скорченная коряга
напоминает ящера,
вымершего до прашура,
но норовящего
прыгнуть стрелою в чащу.

И было слово.
И было снова
заглажено чувство скола,
по которому делятся стороны
света. Сосед репетирует соло
на сломанной
скрипке, и сонный
дом – перебирает сорные
травы разбитого инструмента.
Так пролетает лето –
вслед за совами –
и пусть на губах твоих солено
и скоро – увы, уже скоро –
всё это будет взорвано –
даёшь себе слово,
снова даёшь себе слово...

Геометрия
окна –
ветром
полна.
Однако –
прочь
все эти рамки.
Ночь –
как ночь –
даже в масштабах
пространства,
где небесная швабра
часто-часто
работает по углам,
гоняя вчерашний хлам –
так, что рука
дежурного по верхам –
высекает молнии.
Внизу –
затухают волны
будней и зуд
насущных
потребностей.
Всё, что на сушу
вышло из бездны –
приняло форму
холодного камня
или фарфора
на полочке в спальне.

Слух –
острее.
Стук
сердца – режет
из-под ребра

мякоть,
что стала груба
в хлебе из злака,
срезанного под корень
и запечённого в плоть.
Но кто-то же любит корку,
выхватив целый ломоть...

Вот так –
тик-так,
тик-так,
тик-так...
Впрочем, нет механизма
с пружиной и шестернёй
в призме
новых часов,
отменивших старьё.
Теперь микросхема –
и есть вселенная,
что щурится через стекло.

Чай –
ещё крепок,
ещё горяч, но сейчас
это – нелепость
в условиях
сухости формул,
когда в окне, нарисованном –
в качестве форы
очерченного объёма –
сгущается тьма.
И лишь чувство дома –
окунает в купель дитя.

В широкополой шляпе
и ветхом плаще
легко показаться шатким
в мире вещей
героем психологической прозы –
неузнанным и сухим
на нитке постной,
сшивающей лоскутки
каких-то аллюзий
и низколетящих смыслов.

Катишься шариком в лузу
от борта, где размазали хоккеиста
из известной команды,
шепча: и всё-таки – она вертится.
С ломкой загадкой взгляда,
с нарывающим заусенцем...

Серый, сутулый, нескладный –
разбившийся на абзацы,
в диапазоне – от Гоголя до Сартра –
и шире – до автостанции,
где пишется на коленке
провинциальным автором
повесть о маленьком человеке
пока возится с радиатором
водитель в тельняшке.

Эдакий Мышкин –
бедняжка
пряником из Швейцарии, где не вышло
полностью излечиться –
вот и дивившись тополиному пуху –
дескать, из крыльев ангельских. Чисто –
лопух лопоухий
возле бабушкиного забора
в селе, позабывшем имя

своё, но запомнившем вора,
что, видя добро, никогда не проходит мимо.

Встанешь у зеркала –
шляпа на лоб, за воротом
терпко дымится сера,
и сердце встревоженным вороном
уже готово для крика...

«Доброе утро, последний герой», –
скрипнет виниловая пластинка
под иглой,
на которой теперь Виктор Цой...